



Лев АННИНСКИЙ — литературный критик, писатель, публицист, литературовед. Родился 7 апреля 1934 года в Ростове-на-Дону, в семье учителей. В 1939 году снялся в кинофильме «Подкидыш» в роли маленького мальчика в детском саду, который хотел быть и танкистом, и доктором, по выходным дням — пожарной машиной, и даже пограничной собакой. Отец в 1941 году пропал без вести на фронте.

Ещё в 8-м классе решил, что будет заниматься русской литературой. Окончил филологический факультет МГУ. По окончании университета был распределён в аспирантуру. Выдержал конкурсные экзамены, но после событий осени 1956 года в Венгрии было решено «оздоровить идеологию». Вместо того чтобы писать диссертацию, Лев Аннинский стал делать подписи к фотографиям в журнале «Советский Союз», откуда через полгода был уволен за «профессиональную непригодность». Пришлось, по его выражению, «пойти в литподенщики», что и определило весь дальнейший творческий путь будущего критика.

Автор более 30 книг. Работал в журнале «Советский Союз» (1956–1957), в «Литературной газете» (1957–1960), в журнале «Знамя» (1960–1967), в Институте конкретных социологических исследований АН СССР (1968–1972), в журналах «Дружба народов» (1972–1991 и с 1993, член редколлегии), «Литературное обозрение» (1990–1992), «Родина» (с 1992), в течение короткого времени был главным редактором журнала «Время и мы» (1998).

Автор и ведущий циклов передач «Серебро и чернь», «Медные трубы», «Засадный полк», «Мальчики державы», «Охота на Льва», передачи «Я жил. Я звался Геркулес» на телеканале «Культура».

Награжден орденом «Знак Почёта» (1990). Лауреат Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинациях «Лучший сценарист» (1996), «Сценарист телевизионного документального фильма/сериала» (2004). Лауреат Премии имени Александра Невского «России верные сыны» (2006); Независимой литературной премии имени Б. П. Корнилова (2009); Премии

Правительства РФ в области культуры за двухтомник «Красный век» (2010); Международной Лермонтовской премии в области литературы (2011). Живёт в Москве.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО: «А Я — КАК НЕБАЛОВАННЫЙ»

В 1964 году иностранец, попавший на «концерт Евтушенко в Медицинском институте», попытался осмыслить увиденное: набитую битком аудиторию, жесты длиннорукого тощего поэта, его сомнамбулический голос и горящий взгляд голубых глаз. Иностранцу хотелось понять, что всё это значит. Он записал: «Я его люблю как явление природы».

К середине 60-х годов это явление уже обрисовалось, причем в мировом масштабе. Евтушенко собрал такое количество читателей и слушателей, какое до него в русской поэзии не собирал никто. Включая Пушкина, Маяковского и Есенина, популярность которых, отчасти в силу тогдашних технических возможностей, не достигала таких гомерических размеров, как у этого сибирско-московского шкета, ставшего полпредом то ли стиха, то ли государства, то ли еще чего-то, выходящего вообще за привычные рамки. Я сам слышал в Болгарии (как раз в том самом 1964 году), как люди, прослышавшие о его приезде, принимали его то ли за циркового борца, то ли за иллюзиониста: знали, что «едет Евтушенко», но не знали (или не хотели показать, что знают), кто он и с чем едет.

Разумеется, это было явление, возможное лишь в эпоху массовых действий и чувств, да еще при том условии, что на Россию (то есть на СССР) полмира смотрело со страхом и ненавистью, полмира — с надеждой и любовью. Учтем и то, что поэзия на какое-то историческое мгновение стала тогда универсальным знаковым языком. Учтем, наконец, и то, что такая ситуация вряд ли когда-нибудь повторится, и сделаем неизбежный вывод, что перед нами случай уникальный.

«Мне повезло... Жизнь подарила мне такую прижизненную славу, которая не выпадала на долю поэтов, гораздо лучших, чем я».

Признание знаменательное, и во второй своей части даже более интересное, чем в первой. То есть поэт, осознающий, что эпоха вознесла его на гребень, понимает, что он как поэт — «не лучший». Чтобы решить, так это или не так,



надо прежде договориться, что такое в поэзии — «лучший». Если речь идет об отборе строчек, о технической взыскательности и о безукоризненности вкуса, то Евтушенко действительно уступает «лучшим» своим соратникам. Но самое поразительное: он это знает, он на это идет сознательно, он на это осознанно запрограммирован. В конце концов, вопрос об отборе «лучших» решается почти арифметически: из 25 тысяч строк отбирается 700. Остается вопрос: сохранит ли отобранное печать всеподлинности или будет дистиллировано? Фет как техник стиха «хуже» Майкова или Полонского... Но, видимо, техника стиха — еще не всё в поэзии, которая есть явление духа, явление жизни, «явление природы», наконец. И евтушенковское «дурновкусие» оказывается такой же неотъемлемой чертой его бытия, как и его подмывающее обаяние. Стало быть, начинать надо не с того, хороши или плохи строчки и нет ли поэтов «лучше», а с того, какая личность выявляется в этих, и только этих строчках, с того, какая тут заложена судьба, и, наконец, с того, зачем и чем эта судьба заложена.

Ситуацией?

Да, всемирно-исторической ситуацией. Состоянием мира, который располован только что пронесшейся мировой войной, а точнее, двумя мировыми войнами, между которыми случилась такая «передышка», что хуже войн. Страна, избежавшая гибели, лежит ошестиненная, она боится поверить в то, что драки уже нет. Когда *румяный комсомольский вождь*, повторяя седовласого советского классика, говорит, что на переднем крае надо ставить пулеметы, а не ресторанные столики, он действительно отражает тогдашнее состояние умов и душ. Какие там столики, до них еще далеко! А речь о том, чтобы не гробить парламентариев! Но и не допустить братания!

В глубине души-то они уже готовы и к братанию, недавние смертельные противники. Но страх сковывает. Страх своих же! Страна действительно ошестинена — пулеметами, пушками, ракетами. Души скручены страхом и ненавистью. Кто решится в этой ситуации выйти перед строем с белым платочком, не рискуя, что его прошьют пулями!

Крутой правдолюбец, который вострубит: «Жить не по лжи!» и проклянет колючую проволоку? Нет, он не высунется до 1962 года! Ему головы не дадут поднять, рта раскрывать!

Может, вчерашний школяр разжалобит сердца, грустный солдатик с печальной песенкой на устах? Да его прибьют как дезертира! И он до 1960 года не рискнет запеть.



И вот за десять лет до этих первоапостолов разоружения, еще при жизни безжалостного Генералиссимуса, в мертвой зоне ничейного пространства показывается фигура пронзительно голосащего мальчишки.

«Граждане, послушайте меня!..»

Он идет расслабленной походочкой огольца из Марьиной Рощи. На его острых скулах то ли сибирский румянец, то ли нервик, цветущий красными пятнами. У него длинный, любопытный, буратинистый нос и доверчивые, заглядывающие в самую душу глаза. В его песенке нет ничего ни от трубного гласа, ни от похоронного плача. Но — такая шарманочная простота и такая детская, безоглядная, обезоруживающая, искренняя любовь КО ВСЕМУ НА СВЕТЕ, что ни у кого (ни у кого на свете!) духу не хватает взять это непонятное явление природы на мушку.

Потому что это явление — не только порождение ситуации, оно — знак выхода из ситуации.

«Мы приходим из происходящего».

Первая книжка Евтушенко, вышедшая в 1952 году, — «Разведчики грядущего». Он много каялся впоследствии за ее наивность, советскость и прочее. Зря каялся: главное-то уже в той книжке нащупано, сразу. Он действительно разведчик. Мальчишка-разведчик (недаром же задал Андрею Тарковскому портретный канон для будущего «Иванова детства»). Лазутчик в грядущее.

В грядущем: потепление и заморозки, иллюзии и предательства, опьянение свободой и унижение державы, гром побед и немота банкротств, триумф и бессилие.

И он — всему этому разведчик, всему верящий, все подхватывающий, от всего болевающий, но все пробующий, искусный, как уличный жонглер, и естественный, как сама природа.

Он ничего не пропускает и до всего добирается первым.

В перечне свобод, за которые он борется вместе с поэтами его поколения (эти свободы он неоднократно перечисляет в перечнях: свобода от цензуры, свобода от бюрократов, свобода от очередей, свобода любить, как любится и т. д.), на первом месте неизменно стоит у него — свобода ездить куда вздумается...

А про Гулаг не знал, что ли? Знал отлично: оба деда в лагерях сидели, один там и сгинул. Так почему не взвыл, не поднялся? В голову не пришло... А за свободу выезда сразу поднялся, с первых же звуков! Хочу весь мир увидеть! Не хочу знать никаких границ!



Впоследствии всё это дало отечественным насмешникам увидеть в Евтушенко вечного международного туриста, а зарубежным — «коммивояжера молодой злости» (юмором родные старики прикрывали тревогу, а злостью сердитые юнцы открещивались от завещанной Маяковским собственной советской гордости).

Злости у Евтушенко не было (и нет), а вот действительная жажда увидеть весь мир — была (и есть). И коллекционирование посещенных стран — факт (94 страны — подсчитал же!). Только это — не туристский азарт, это — врожденное ощущение, что мир — твой. Изначально. И значит, всякое препятствие братанию с миром есть вопиющее насилие над природой личности!

Он уверен, что всё, чего у него почему-то нет, у него украли, отобрали! Его тяга к экспроприации в ответ на обделённость — это же вывернутое наизнанку всеобладание! Назвать собрание своих стихов «Краденые яблоки» — это надо же! Он не вынес бы, если бы у него впрямь отняли бы хоть что-то из присвоенного им изначально целого мира! Всё нужно, все дорого! Прежде чем прогrometer на весь мир, он еще в 1955 году предупредил: *«Границы мне мешают, мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка!»* И прежде чем заявить о своих межконтинентальных аппетитах, он просмаковал заплеванный шелухой от семечек подмосковный перрон, и слушал упоенно паровозные гудки под пластинку «Самара-городок» Розы Баглановой. И, обследовав *«туфли из Гавра, бюстгальтер из Дувра»*, немедленно вернулся встретить *«рассвет над Леной»* и выяснить попутно, что крановщик Сысоев грузит на баржу *«контейнеры с лиловыми кальсонами и черными трусами до колен»*. И, как их там, *«Черновицы или Черновцы»*... и *«вы выбираете вишни и спрашиваете у торговков, почем у них огурцы...»* Ненасытен. Неукротим. Неуёмен.

Между прочим, именно эта неуемная жажда подробностей, это гурманское перебирание впечатлений («раблезианское» — сказал он о себе сам), наверное, и помешало Евтушенко как поэту стать «лучше». У него всегда перебор материала. Не может остановиться. Но — какая энергия, какая магия присвоения!

Этой энергии, кстати, хватило еще и на то, чтобы сделаться попутно киноактером, кинорежиссером и фотохудожником. Я уже не говорю о литературных жанрах: публицистике и прозе, где подробности идут потоком, — художественная структура проседает под их напором!

Тут, кстати, и ответ на вопрос, почему именно как поэт Евтушенко осуществился конгениально своей одаренности, и почему настоящим прозаиком не

помогли ему стать ни всемирная слава поэта, ни опыт мастера-стихотворца. Стих все-таки по определению вынуждает к экономности, хотя бы музыкальной... или он разваливается. Уж это мастер стиха знает. В прозаическую же фразу можно попытаться вогнать всё, что попутно схвачено и присвоено... Фраза вспухает, заваливается, задыхается от тромбов.

Поэзия же — взмывает над всем этим ранней птахой, весь мир — ее.

Мне мало всех щедростей мира,
Мне мало и ночи, и дня.
Меня ненасытность вскормила,
И жажда вспоила меня.

Подлинная поэзия — не та, которая «о чем-то» стихом рассказывает, а та, которая это «что-то» стихом являет. Евтушенко рассказывает очень много. Но его стих, порожденный захлебывающейся жаждой исповеди, есть свидетельство подлинности и материала, и чувств, переполняющих душу. Да, здесь нет вкуса к «окончательным, исчерпывающим формам», на отсутствие которых когда-то мягко указал Евтушенко Борис Пастернак, пожелав их ему на будущее. Но ведь дюжина евтушенковских строк вошла в русскую речь в ранге пословиц! Да, вошла... но не в результате вычеканивания формул как самоцели, а — от переполнения, от того, что идет — через край. *«Поэт в России больше, чем поэт»!* Может, больше, может, меньше, но уж точно — не «совпадает».

У него ничто ни с чем не «совпадает», ничто ни в чем не завершается, а именно — переплескивает. Стих вибрирует от напора эмоций, от столкновения мыслей, от восторга жизни, загадочно-упоительной даже в бедах. Этот стих бывает четок и резок по обводу, но он всегда нежен и туманен в сердцевине. Этот стих силится всё вместить, и с особенной энергией — вместить невместимое. В качании ритма, в прелести неточных рифм чувствуется эйфория, легкое опьянение — именно легкое, как от шампанского, то есть не вышибающее тебя из проклятой реальности, а позволяющее как бы парить над нею, сохраняя любопытствующую трезвость.

В широкой перспективе это, конечно, традиционно-русская «всеотзывчивость». Но можно себе представить, на какие углы должна была она натываться в мире, где все, как на войне, оцетинено и забетонировано.



Его лирическому герою совершенно ведь неважно, что перед ним: целе... или нецелесообразность, труд или праздность, добро или зло, наконец! Это же фантастическое по откровенности разоружение, реабилитация всего подряд! *«Людей неинтересных в мире нет!»* То есть: уравнивать союзников с противниками, друзей с врагами... Да-да, оно самое: он еще и с комсомольским вождем обнимется — с тем самым, которого сначала заклеят! Если пойти по этой дорожке до конца... а Евтушенко во всем хочет дойти до конца, а не «до половины»... так до чего дойдешь? Да ни до чего: взлетишь вольной птахой... Но в этом демонстративном полете так вывернутся застывшие неповоротливые понятия, что от них вообще ничего не останется. А всё так невинно, так наивно: *«Я на сырой земле лежу в обнимочку с лопатой....»* Разве мать сыра земля место для подобных забав? С лопатой — что надо делать? Вы только представьте себе, как всё это должно звучать в ушах идеологических столпов системы! И еще это нарочито детское, дразняще-наивное и притом невинно «счастливое»: *«Наделили меня богатством, не сказали, что делать с ним»*. Ну, уж и не сказали! Тысячу раз говорили, да еще и кулаком по столу приколачивали! И ЧТО делать, объясняли, и КАК делать. А в ответ что? *«Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее»*. Фраза летит в народ, обрастает толкованиями и живет там, в народе, как хочет, то есть не поймешь, как именно, ибо выброс из нее возможен в любую сторону: и в гражданский порыв, и в антигражданский экстаз, но в любом случае — за пределы ожидаемого.

Очень быстро это раздражающее всех вольное дыханье получает оценку действием. Разумеется, поэта уже не собираются убивать: и времена не те, и рука не подымается на счастливого певуна, пихающего цветы в сопла ракет. Но оплевывают его с таким удовольствием (застрельщиками явились собратья-писатели, не добившиеся тайной свободы, и комсомольские вожди, для которых вольности оказались соблазном), что провоцирование нападок довольно быстро становится для него принципом поведения.

Любая из таких нападок смехотворна и элементарно опровергается. Однако все вместе они абсолютно резонны, потому что поведение Евтушенко-поэта (*«стихи-поступки»*) в атмосфере оттаивающей от войны советской боевой лирики — сплошной вызов. И чем дальше от элементарной политики и глубже в лирический интим уходит его душа, тем труднее ее притянуть к ответу и тем безнаказаннее дразнит он всех, кого притом искренне любит.

Да любит ли?



Если боль — такой же дар божий, как счастье, а зло — такая же захватывающе интересная штука, как добро, если герой плачет и пляшет одновременно, то насчет любви можно предсказать с уверенностью: «любит» в известном смысле — то же самое, что «не любит». Как лепестки ромашки: какой выпадет. *«Для неё любимым не был и был любимым для нее»*. Можно спутать. *«Как по летнему лугу я по жизни иду»*. Это выдохнуто в 1953-м, когда железный Генералиссимус еще только лег в Мавзолей, и чуть не целое десятилетие остается до его выноса!

По летнему лугу — это значит: не по расчерченному тротуару. А по колючкам и кочкам, рытвинам и колдобинам нерасчисленной, природной реальности, полной страстей и соблазнов.

Четыре законных любви подробно описаны в лирике Евтушенко. И — неисчислимое количество незаконных. По прихоти судьбы (и по глупости критики) в памяти литературы торчит занозой одно стихотворение — *«А что потом?»* — за которым тянется шлейф обвинений чуть не в порнографии. До каких же комплексов надо было домучиться, чтобы в строке *«Постель была расстелена»* усмотреть разгул! Теперь-то, когда разгул действительно демонстрируется по всем каналам шоу-бизнеса, видно, что в любовной лирике Евтушенко нет, не было и не могло быть ни намека на эротическое любование. Даже в самых «откровенных» стихах.

Почему?

Да потому что при малейшем намеке на разделенное чувство, на счастливое разрешение любовной драмы у него возникает призрак несчастья. А потом само это несчастье в свою очередь принимается как счастье. Исполнение желанья — смерть желанья. Горек привкус даже у счастливой любви. По глубинной, потаенной, фатальной закономерности «слияние душ» невозможно.

Навешивая Евтушенко ярлыки аморальности, блюстители нравов, конечно, писали чушь, но звериным чутьем они чуяли, что с общепринятой моралью тут и впрямь не всё в порядке. Тут изначально нет культа ЕДИНСТВЕННОЙ избранницы, традиционного для мировой лирики. *«Единственной пристани нет»*. А есть мучительный поиск родной души, которая ускользает.

Он ведь ищет не жену, лирический герой. Он ищет одновременно, в одном лице: жену, сестру, мать, дочь... Иначе говоря, он ищет в женщине воплощение той универсальной, вселенской родственности, которой у него изначально заряжен мир. Но разве такая универсальность может быть удержана в одной



фигуре? А если нет, то вернуть их всех! Точно так же, как дальние страны, по-
этом еще не посещенные, кажутся ему у него украденными, — украденными
кажутся ему все увиденные женщины. Задача: украсть их обратно. *«Когда мы
любим, мы неповинны, что жажда лада танцует в горле, и все, кто любят, —
Гекльберри Финны с усами меда, который спёрли».*

У нас, можно сказать, спёрли весь мир, и мы его себе возвращаем. У нас
спёрли нашу природу. Спёрли — «наше всё», и это неохватное «всё» пресле-
дует нас в каждой примятой травинке, в каждой пойманной радиоволне, в
каждой случайной женской улыбке.

Можно назвать это обычной любовью, но иногда, поискав слово, можно
воскликнуть в духе того умного американца, который влюбился в Евтушенко
на вечере поэзии в Мединституте:

«Я люблю тебя больше природы, ибо ты, как природа сама...»

Это адресовано столько же Маше, сколько всей Вселенной, в масштабах
которой всё загадочно переходит из одного в другое и, как мы уже имели слу-
чай убедиться, оказывается больше себя:

«...Я люблю тебя больше свободы — без тебя и свобода — тюрьма...»

Если наложить это признание на самый грандиозный из поэтических
афоризмов Евтушенко, подхваченный народом и переделанный так: стакан в
России больше, чем стакан, — то всё становится предельно логично.

«Что любовь? Это только минута свободы. Потом даже хуже...»

Однако в любовь можно спрятаться. К ней можно прислониться. Ею мож-
но прикрыться. На время. Только на время. Это какое-то божье наказание:
всем существом прижиматься к другому существу и все-таки с отчаянием
ощущать, что оно — другое. И любое встреченное в этом украденном от тебя
мире — все равно будет ДРУГОЕ.

Где же грань,
где граница меж нами двоими?
— лишь кожа твоя и моя.

Так возьмись
Перепрыгнуть и эту границу
и губы бездонные дай мне до дна.

Так вожмись
кожей в кожу, и станут они как одна.



Не станут. Невозможно стереть «и эту границу». Здесь предел полету. Здесь — глубинная неразрешимость бытийной драмы, учуянной Евтушенко. Обозначена она цепочкой сожженных семейных очагов.

Когда-то критик Бенедикт Сарнов уловил эту мучительную несходимость в строчках о второй пуле, которую надо выпустить в любящего, чтобы убить в его душе еще и душу любимой. Критик резонно заметил: если это действительно любовь, то достаточно одной пули, чтобы убить обоих.

Это абсолютно так, если судить с позиций нормальной этики, завещанной нам в словах: муж и жена — единая плоть. Сарнов так и чувствует. Но в том-то и боль, воплощенная в лирике Евтушенко, что окончательное слияние недостижимо. И как бы ни был тесен союз, в нем неслиянны двое, и поэтому нужны две пули, чтобы покончить с этим мучением, а происходит оно, несомненно, от изначального ожидания единства со всем миром.

Так любовная лирика смыкается с гражданской.

Мир расколот.

Склеить его! — вот лейтмотив.

«Что такое русская литература? Это — разбитое войнами и революциями зеркало, чьи осколки все-таки снова срослись...»

Осколки — срослись?? Да не могут осколки срастись! Они потому и осколки, что не срастаются.

Блок пытался «срастить концы». Кровью. В поэме «Двенадцать».

Евтушенко пишет поэму «Тринадцать»:

«Всю Россию распороли — не срастется этот шов».

Но жажда срастить — неистребима! Всю жизнь собирает осколки. Хочет соединить. Соединить «наши места рождения» — и это не выходит. Не прирастают друг к другу «лоскуты». Смотрит на полотно Кандинского и завидует: тот *«сначала разломал, но потом срастил радугу»*. Срастить радугу — это то же самое, что приживить осколки. Или *«разломить вьюгу»*. *«Срастить бифштексы снова в коров»*. *«Собрать еле-еле с дорог расшивырянного себя»*. *«Вымечтать по кусочку»*.

Поэтическая вселенная у Евтушенко не вырастает из одного корня, она попадает в душу тысячами отдельных впечатлений: снежинок, дождинок, встреч, бликов, суждений. Эта изначальная рассредоточенность — как китайская казнь тысячи кусочков. Это надо выдержать. Вселенную — собрать. Во что бы то ни стало. Это — категорический императив, потаенный нерв, уникальный случай — «случай Евтушенко», его сюжет в русской лирике.



Вечная мечта и вечная неосуществимость: собрать Единое Счастье из мелких несчастий, на которых, несмотря ни на что, сияет отблеск Единого, которое всегда разодрано, расхватано, рскромсано, разбросано.

В финале той самой автобиографии, что названа «Волчий паспорт» (это, между прочим, означает: тысячи временных штампов и ни одного окончательного), — итоговые стихи:

Я приду в Двадцать Первый век.
Я понадоблюсь, как в Двадцатом,
не разодранный по цитатам,
а рассыпанный по пацаньятам
на качелях, взлетающих вверх.

Дуга качелей. Воображаемое «что-то», единым махом очерчивающее Единство рассыпанному миру.

Так это же то самое — неощутимое — «что-то», что брезжило и в стихах пацаненка, которому казалось, что он приснился сам себе:

Уже вокруг ходило что-то,
Уже примеривалось к нам...

Пацаненок ломает надвое подсолнух, делясь с пацаночкой; они вбегают в мир, сверкающий, как бусы; месяц *«дрожит половинкою обручального, что ли, кольца»*.

Душа, сотканная из пьянящих отдельностей, вглядывается в мир, который ее из этих отдельностей соткал.

В родословной — «семь кровей» близко живущих народов, прижавшихся друг к другу, но не слившихся. Почти по старшиновской пародии: «Полухохол, полуполяк, полулатыш, полутатарин». Или — по собственной патетической характеристике: *«Рожден я был, назло всем узким вкусам, поляком, немцем, русским, белорусом, и украинцем, и чуть-чуть монголом...»* Насчет монгола тут, видимо, символический парафразис: «поскреби русского...» А вот с евреем дело куда более реальное. Когда будущий автор «Бабьего Яра» был еще сибирским школьником, ему сказали:

— Как ты можешь сидеть на одной парте с жидом?



Он переспросил:

— А что такое жид?

В ту пору он хорошо знал другое: что такое немец. Ему, возненавидевшему немцев по всем законам военного времени, судьба ответила нетривиально: она обнаружила немецкие гены в нем самом, аж с семнадцатого века. Он принял это с весёлой готовностью, но главное испытание было впереди. Одно дело — когда в 1640 году ротмистр Тридцатилетней войны Якоб Гангнус женится на крестьянке из Вимпфенталя, а в 1767 году правнук этого Якоба подается на заработки в Россию, и другое дело — когда «вдова брата моего дедушки» из австрийских Гангнусов говорит своему вновь обретенному родственнику: «Жаль, что Зигфрид не дожил до этого дня и не познакомился с тобой — вы бы подружились».

С фотографии приветливо улыбается русскому поэту Зигфрид — *«стройный офицер гитлеровского вермахта...»*

Ох, верно сказано: кого любит эпоха, того и испытывает.

«Танки идут по Праге». Август 1968-го. Это — ДРУГИЕ танки, чем те, что спасли тебя в 1942-м? Или все-таки немножко — ТЕ САМЫЕ?... *«Разве я враг России? Разве я не счастливым в танки другие, родные, тыкался носом сопливым?»*

Как вместить всё это, как любить всё это, как это охватить? Почему самому преданному сердцу судьба ставит такие капканы?

А может, потому и ставит, что это сердце, которое по природе своей хочет любить «всё»?

Ну, с врагами внешними относительно просто. Сложнее — с врагами «внутренними». Пригвожден, если помните, *«румяный комсомольский вождь»* за посягательство на Есенина. С прототипом этого вождя судьба сталкивает поэта на международных орбитах. И что же? Аннигиляция? Да нет же! Два противника обнимаются дружески! Хватило же ума у бывшего комсомольского вождя сообразить, что если запомнит его История, то по строчке поэта; хватило сердца и у поэта — понять, что связывающее его с героем стиха Единое куда больше, чем то, что их разъединяет.

Что же их связывает?

Может, вот это: им *«не наплевать на весь земной шар»*? Было в советской поэзии такое понятие, подхваченное «мальчиками Державы», поколением смертников-лейтенантов, и переданное поколению послевоенных мечтателей: «земшарность». Об этом можно даже не писать специальных стихов — это



бае*т ромштексы, мозги*», — это не что иное, как обозначение той реальности, которой эпоха «наделила» поэта, и он решает, что с таким богатством делать. Когда *«кто-то помидор со вкусом солит»*, это, конечно, знак родной дремучести, но это и прозрачный негатив тех пиршеств, которые герой предвкушает в Буэнос-Айресе, Нью-Йорке, а также в тбилисской хашной и русской чайной. В принципе такие пиршества — верх гурманства, но в гражданской панораме России они у Евтушенко — «низ».

А верх? Лакировщики. Бюрократы. Начальники. Если нельзя вывести начальников персонально, то — *«правительственная ложа»*. Противовес? Пушкин, разумеется. Но — в сочетаниях. Пушкин и Герцен. Или так: Пушкин и Стенька. Последнее сочетание не очень традиционно (привычнее Пушкин и Емелька), но оно подкреплено у Евтушенко переключкой с «Русланом и Людмилой»: говорящая голова как бы предрекает Стенькин монолог из поэмы «Братская ГЭС»: *«Голова моя повинна...»*

То есть все участники гражданского действия изначально приглашены сюда из великой русской литературы. Обитатели Растеряевой улицы топают сапожищами из века Девятнадцатого в век Двадцатый, светила русской хрестоматии метят путь из Двадцатого в Двадцать Первый. Кругом литература. Даже в живой сценке с покупкой бочки меда во время войны наглый покупатель мечен литературным ярлыком: *«Столп российской прозы»*.

В общем, картина такая: снизу рыла, сверху портреты. Или, как определил этот баланс сам Евтушенко: *«Морды и мифы»*.

Теперь проследим динамику. «Низ» постепенно наполняется неподдельной плотью. Истинный дар Евтушенко — пронизанные некрасовской музыкой зарисовки с натуры: тягловая *«серединная Россия»*, кочующая по стране в поездах, на пароходах и пёхом. Наблюдательность и неистощимость изумительны! В этом смысле стихи и поэмы Евтушенко — действительно фреска жизни страны в советское время, и подлинна эта картина не только потому, что точны и красочны ее детали, а потому, что включена фактура в душевную драму поэта, который готов раствориться в том, что видит.

Но раствориться — это же полная невозможность осуществиться как личности! Да, так. Будет карикатура. Вот она, «низовая» манифестация индивида: *«Купчина раскорякою едва подполз к стене: «Желаю выйти тutowа! Рубите дверь по мне!»* Пьянь, дурь, варварство. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Великая Грязь!



Но если любое воплощение так опасно, то лучше — слиться с этой социальной магмой, с этой, как сказал бы Константин Леонтьев, развоплощенностью, с этой необузданной природой; то есть — стать *стройкиным сыном, деревниной дочкой* (читатели помнят, кто из героев поэмы «Братская ГЭС» символизирует этот путь и как называется Ньюшкина родная деревня).

Может быть, «верх» социальной картины оставляет просвет для личности?

Оставляет. Чисто символический. Просвет в тупик. Потому что примирить Пушкина и Стеньку можно только в символическом «небе». Как только опускаешь Стеньку на почву, тебе говорят: ты же убийцу, насильника прославляешь!

Евтушенко с этими оценками не спорит — он их обходит. Потому что жажда всё соединить — сильнее. Есть что-то, что заставляет, переступив через унылые доводы историков, охватить «тех и этих». Обнять всё. Срастить.

Но как? Степан Разин тебе недостаточно крут, а Михаил Светлов достаточно мягок — так ты за «крутость» или за «мягкость»?

А неважно. Хочется подпилить клетку и спасти Пугачева, но так, чтобы бунтующие мужики не пожгли библиотеки в усадьбах. Хочется оплакать и Якира, и Блюхера, мучеников сталинского террора. Тут выясняется, что Блюхер подписал Якиру смертный приговор. Узнав об этом (неужто из моего письма в «Огонек»?), Евтушенко не скрыл растерянности. Поскольку я — участник этого литературного эпизода, скажу и о моей реакции: мне искренняя растерянность поэта, ахнувшего: *«Как это случилось? Может, подпись Блюхера была сфальсифицирована!»* — честная эта боль ценнее уверенности иных демократов (или патриотов, неважно), которые знают, кто виноват, что делать и кому на Руси хорошо.

Евтушенко говорит: не могу решить! Все виноваты! Всем плохо! Что ни сделай — всё оборачивается дурью, ложью, кровью.

Что же может поэт? Взвыть от отчаяния? Упрямо верить? Надеяться?

Самое ценное в гражданской лирике Евтушенко — отчаяние, с которым он бьется о неменяемую реальность. И упрямая надежда, которую он черпает в самом отчаянии. Нет ответов на проклятые вопросы. Но есть проклятая одержимость задавать и задавать их. Это уже не *«просто стихи»*. Это — *«стихи-поступки»*.

Просто стихи — это поэма «Казанский университет», написанная в 1970 году к столетию Ленина, когда Евтушенко еще «не знает» обо всех злодеяниях своего героя.

Но перепечатка поэмы в 1999 году — это поступок. Когда уже все «знаешь». Можно, конечно, сменить черное на белое (красное на белое), как делают иные поэты, «гораздо лучшие», чем Евтушенко. Но он старого текста не прячет. Он с ним — вступает в диалог! Кричит своему герою: «Стой!» Фантастическая наивность... Но помните, какой, по Пушкину, должна быть поэзия? Смягчим определение: чуть простоватой. «Если и погиб твой брат без трусливых слов, разве в казни виноват Гумилев?.. Разве Сашу извели «кулаки»? Так за что ж их от земли — в Соловки?.. Стой!.. Сумей, смиряя злобу, сам себя спасти. К собственному гробу Кобу ты не подпусти...» На такой «стих-поступок», как диалог с собственным неслышащим героем, смог решиться только Евтушенко.

Только он смог решиться на поэму «Тринадцать», где к блоковской дюжине добавлен современный охламон: полученная таким образом чертова дюжина расставляет ремарки на «вьюге» 1918 года:

«Мировой пожар в крови — господи, останови!»

Если это «просто стихи», то упор в чужой текст есть признак либо слабости, либо лукавства, которое тоже слабость. Но это стих-поступок, в котором слабость становится точкой упора, и тут — возможность преодолеть ее. Нам всем — преодолеть. «Слава богу, есть литература — лучшая история Руси». Я, правда, не убежден, что «Двенадцать» Блока — лучшая глава в этой истории (лучшая — «Возмездие», но та глава не дописана... может, и не случайно). Однако я убежден, что в этой ситуации единственный шанс превратить стих в поступок — это взглянуть в глаза неразрешимости. «Царь, по росту из оглобель, что он сделал с трезвых глаз? Демократию угробил или грубо, грязно спас?» Биографы Ельцина пусть решают этот вопрос. Биографы Евтушенко должны сделать другое: проследить тему «грязи», из которой все мы слеплены. И проникнуться тем, что никакой другой поэт не решился бы на такую «неопределенность». Другой определился бы, взял ту или эту сторону, сторону президента, расстрелявшего парламент, или сторону парламента, дразнившего президента, — постарался бы полюбить «что-то одно»...

Полюбить «что-то одно»?!

«Меня спасало то, что я никогда не любил что-то одно, а любил слишком многое в жизни, чтобы от нее отказаться потому, что меня обманула лишь одна ее составная...»



Потрясающее признание. Он всю жизнь потому и перебирает «составные», что они «обманны». Даже если их собрать и «срастить», — всё равно они обманны и призрачны, а истинно то, идеальное, что брезжит за этими составными. Какая-то «форма», которую надо наполнить «содержанием». Какая-то «мечта», которая должна осуществиться. Какое-то «первородное звучание», которое надо вернуть «словам».

Это чувство — с самого начала: сначала дайте что-то выкрикнуть, а что именно выкрикнется — потом станет ясно.

«Мы с вами отомстим талантливо тем, кто не верит в наш талант».

Его переспрашивали (без всякой иронии): ты скажи, ЧТО ты хочешь выразить с помощью таланта. Его обвиняли в легковесности, поверхностности, всеядности. Он соглашался, тут же вводя эти определения в стихи, наполняя их содержанием, неуловимым для определений.

Жизнь подставила ему зеркало в виде пляжных графоманов с итальянского фестиваля поэзии: те тоже не знали, что их томит и мучит, но, расталкивая всех, непременно желали «заявить о себе».

Он не принял иронии судьбы: томившее и мучившее его «что-то» было слишком сильно, чтобы учитывать ещё и «составные» чужих амбиций.

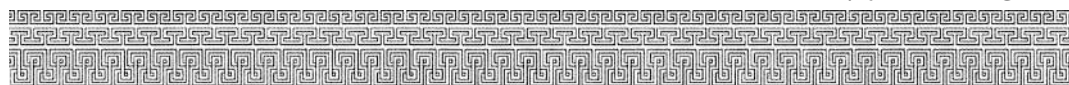
Какую бы «составную» собственной жизни он ни брал, она оказывалась «ничем» в свете того, что было «всем». Бешеная энергия, подхваченная им у эпохи, таяла и рассеивалась по мере того, как умирала сама эпоха. Это было его «всё», и оно исчезало как призрак. Он спасал частности, пытаясь остаться «всем». «Всем временам однолеток, земляк всем землянам и даже галактикам», он не мог не понимать, что нельзя «понятым быть здесь и там», что под ногами пустота, и что «кто был ничем, не станет всем». А кто был изначально «всем»? Не останется ли он «всем» — чисто символически?

Он отвечает как истинный сын своего времени, как сын своего поколения, поколения последних идеалистов советской эпохи: кто изначально вобрал в себя «всё», тот никогда не будет опустошен. Даже если не найдет этому «всему» подлинного имени.

Перебор имен — это все тот же перебор «составных» жизненного потока: всё пробуете и всё отбрасываете: не то, не то, не то! И в интиме, и на митинге.

На грани между «любовной лирикой» и «гражданской» как раз и видишь, что никакой «границы» нет.





— А, собственно, кто ты такая,
с какую такую судьбой,
что падаешь, водку лакая,
а всё же гордишься собой?

А собственно, кто ты такая,
Когда, как последняя мразь,
Пластмассою клипсов сверкая,
Играть в самородок взялась?..

А собственно, кто ты такая
и, собственно, кто я такой,
что вою, тебя попрекая,
к тебе прикандален тоской?

Прячась за того же Блока, он мог бы назвать это стихотворение: «Файне» или «Коломбине». Или, не прячась: «Алданочке», «Португалочке», «Калифорниечке»... А мог бы назвать: «Мировой Революции». Или: «Всемирной Истории».

Он назвал это стихотворение: «России».

Еще бы: *«История века дописана: мы оказались в постскриптуме».*

Мировой истории с нами теперь делать нечего: нас из нее вышибли.

Но «что-то», из чего нас вышибли, саднит и ноет. *«Что-то в нас всех сидит глубже, чем Сталин и Ленин. Наша свобода смердит лагерным тленом, растленьем».*

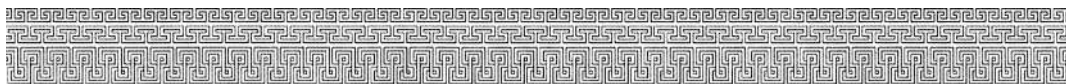
Хотели свободы — получили разгул. Хотели стереть все границы — получили уравнение: *«Где грань меж Магаданом и Майданеком?»*

Искали виноватых? Пожалуйста: *«Иван-дурак, Исак-дурак... Народов братство было люто. Шли по велению вождя то русский, то грузин в малюты...»*

И все это — под красным флагом.

Лежит наш красный флаг
в Измайлове в растяг.
За доллары его
толкают наудачу.
Я Зимнего не брал.
Не штурмовал рейхстаг.





Я — не из «коммуняк».
Но глажу флаг и плачу.

Лучше бы брал, штурмовал. Страшно терять «всё», когда тебя этим «всем» наделили, а оно оказалось «призрачно». Такое не определить. Только пережить.

Одно определение точно:

«Я был последним советским поэтом».

Не вижу причин сокрушаться по этому поводу. Евтушенко — последний в ряду великих советских поэтов. Ряд достойный. Судьбу не выбирают.

Он был зачат в палатке геологов над Ангарой — там, где впоследствии встала Братская ГЭС, — и появился на свет в Нижнеудинской больнице. Советской власти было тогда неполных пятнадцать. Когда пятнадцать исполнилось ему самому, он бросил школу, поехал в Казахстан, нанялся рабочим в геологоразведочную экспедицию и долбил ломом породу, пока не скопил денег на пишущую машинку. Еще через пятнадцать лет его стихи знал весь мир, и иностранец, попавший на его «концерт» (между прочим, это был Джон Чивер), не зная, как всё это понять, сказал, что это «явление природы».

Евгений Евтушенко аккумулировал энергию своего времени. Он полюбил эпоху самозабвенно. И она ему ответила взаимностью. Что не помешало ей самозабвенно лупить его. Таков был стиль времени. Он дрался в ответ, спорил, когда его называли любимчиком, сравнивал себя с ломом, крушащим стены, с тараном, проламывающим преграды. Он был «ужасное дитя» матери-эпохи. Таковым, надо думать, он и войдет в ее историю.

Напомню азбучное правило: в стихе решает не то, «про что» говорится, а то, «что» говорится, и говорится не столько словами, сколько рядами ликующей энергии меж слов:

Целовали меня, а я — как нецелованный.
Баловали меня, а я — как небалованный.

Слышите, как искрит?

Искрит идеал под ударами осколков меняющегося времени.

